

РОМАН КУБОВ

БЮРО
«РАЗВОД»

— КНИГА 2 —

ДОЛГ, КОТОРЫЙ
Я НЕ БРАЛА

Роман Кубов

Долг, который я не брала

«Автор»

2026

Кубов Р.

Долг, который я не брала / Р. Кубов — «Автор», 2026

Олеся Круглова приняла после мужа завод: сто двадцать семь человек, отгрузка двадцатого числа. Второго декабря ей приносят требование на сорок один миллион и десять дней на ответ. Основание — её поручительство по займу, которого она не брала, с подписью, удостоверенной нотариусом в день, когда она была за девятьсот километров от города. Кира Мещерякова берётся за дело, от которого отказались четыре юриста: подпись выглядит настоящей, бумаги чисты, срок идёт. Спорить о подписи бесполезно — спорить нужно о деньгах: двенадцать миллионов платежей, ушедших не по тому счёту, и женщина с коричневой сумкой, ставившая чужие фамилии за десять тысяч за раз. У бюро два месяца, тридцать одна позиция залога и сто двадцать семь человек, которые останутся без работы, если счёт не сойдётся. А ещё — управляющий, присланный закрыть завод и считающий её цифры точнее, чем свои.

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Клиентка	8
Глава 2. Требование	13
Глава 3. Залог	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Роман Кубов

Долг, который я не брала

Пролог

Четырнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года, четверг, семнадцать ноль-ноль.

Контора нотариуса Пантелеева занимала первый этаж старого дома в центре: ремонт две тысячи девятого года, лампы дневного света, запах озона от лазерного принтера, который не выключали с утра. В приёмной сидела женщина с пакетом семечек. Над дверью кабинета горела зелёная лампочка: свободно.

Сергей Ильич поставил папку на колени и посмотрел на часы.

— Сейчас, — сказал он.

Он не нервничал. За восемь лет работы с ним я ни разу не слышала, чтобы он повысил голос. В декабре прошлого года, когда Игорь Николаевич выгнал его из завода вместе со мной, он вышел из кабинета, не хлопнув дверью, и сказал мне в коридоре: «Вера, всё вернётся на круги своя». Вернулось. Не знаю, рада ли я.

Зелёная лампочка погасла. Мы вошли.

Валерию Кондратьевичу был шестьдесят один год, он носил очки в тонкой оправе и говорил «сейчас посмотрим» так, будто смотрел не документ, а погоду за окном.

— Добрый день, — сказал Сергей Ильич. — У нас срочно. Договор займа, поручительство и согласие супруга на залог. Заёмщик — общество «Круглов-Металл», поручитель — Круглова Олеся Андреевна.

— Олеся Андреевна здесь?

— В командировке. Нижнеолховск, до пятницы. Мы привезли всё: копию паспорта, доверенность две тысячи двадцать третьего года, действующая до декабря. И человека, который подпишет.

Он сказал «человека» — не назвал меня. За восемь лет я подписывала столько бумаг, что могла бы поставить чужую фамилию во сне, но меня никогда не называли вслух в кабинете, где ставили печать.

Пантелеев надел очки.

— Я должен установить личность того, чью подпись удостоверяю.

— Копия паспорта перед вами, — сказал Сергей Ильич. — Первая страница и регистрация. Подлинник у неё, она утром улетела. Вы удостоверяли её доверенность в июне, вам знакома и подпись, и лицо.

— Знать и установить — разные вещи, Валерий Кондратьевич, — поправил он сам себя.

— Я понимаю. Но завод стоит. Срыв поставки на четырнадцать миллионов.

Пантелеев смотрел на копию ровно одиннадцать секунд — я считала, я всегда считаю, когда мне страшно. Потом поднял глаза. Я сидела прямо, руки на коленях, пальцы вместе: так он учил меня сидеть в две тысячи шестнадцатом, когда впервые привёз сюда с чужой доверенностью.

Он посмотрел на меня четыре секунды.

— Вы Круглова Олеся Андреевна?

— Да, — сказала я.

Голос не дрогнул. В сорок семь лет я научилась не дрожать голосом раньше, чем научусь не краснеть.

Пантелеев вздохнул, снял очки, протёр краем рубашки, надел. Девять секунд — и в эти девять секунд я поняла: он подпишет. Не потому, что поверил. Потому что ему шестьдесят один, у него ремонт две тысячи девятого года и приёмная с женщиной, которая щёлкает семечки, а Сергей Ильич привёл меня сюда одиннадцатый раз за восемь лет — и ни разу не было последствий.

— Документы.

Их было три. Поручительство на четырёх листах, согласие супруга на залог оборудования на одном и короткое — про то, что я ознакомлена с графиком платежей и согласна.

Я читала. Я всегда читаю: расписываюсь своим почерком, а почерк — единственное, что у меня от меня осталось.

«Я, Круглова Олеся Андреевна, обязуюсь отвечать перед кредитором за исполнение обязательств общества «Круглов-Металл» по договору займа от двенадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года в полном объёме, включая основную сумму, проценты и неустойку».

Тридцать четыре миллиона. Восемьсот пятьдесят моих зарплат.

— Подпишите здесь, — сказал Пантелеев. — И здесь. И на каждом листе.

Четыре листа, четыре подписи, восемнадцать движений ручкой. «О. А. Круглова» — чужую подпись я умею с четвёртого раза, а эту делала уже трижды за год по бумагам завода: Олеся Андреевна доверяла мне ставить за неё, когда уезжала. Она вообще доверяла людям, и Сергей Ильич этим пользовался.

Пантелеев поставил удостоверительную надпись, печать, подпись, число и проговорил вслух:

— Подлинность подписи Кругловой Олеси Андреевны удостоверена. Четырнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года. Взыскано четыре тысячи восемьсот рублей.

Сергей Ильич отсчитал купюры по тысяче.

— Квитанцию, пожалуйста.

На улице шёл мелкий сентябрьский дождь — тот, что идёт весь день и не переходит в ливень. Сергей Ильич проверил, что все три экземпляра на месте, защёлкнул замок и достал белый конверт. Вложил его мне в руку ладонь в ладонь, коротко, чтобы никто со стороны не заметил.

— Сорок, — сказал он. — Как договаривались.

— И ещё, — добавил он. — Ты меня сегодня не видела. И Валерия Кондратьевича не видела. И себя в этом кабинете тоже.

Он пошёл к машине, не оглянувшись. А я осталась под дождём и подумала не про тридцать четыре миллиона и не про восемьсот пятьдесят зарплат. Одиннадцатый раз за восемь лет. И ни разу никто не поднял глаза дольше чем на четыре секунды.

На остановке я всё-таки пересчитала: ровно сорок тысяч, четыре пачки по десять.

А в это же время, в семнадцать двадцать, за девятьсот километров от Краснореченска, в Нижнеольховске, в кабинете директора завода «Стройдеталь», свой договор подписывала сама Олеся Круглова. Договор поставки на четырнадцать миллионов двести тысяч. Дальше этот день она описывает сама.

Кабинет был казённый, с графитовым запахом нового линолеума. Директор, мужчина лет шестидесяти по фамилии Тимченко, говорил много и с удовольствием, а я смотрела в окно, где шёл такой же дождь, только крупнее, и думала, что Игорь правильно делал, когда не ездил на переговоры в дождь: в дождь все говорят дольше, чем нужно.

— Давайте здесь, — сказал Тимченко и подвинул лист.

Я подписала. «О. А. Круглова» — моя подпись, настоящая, та самая, которую я ставлю с двадцати шести лет и которая за восемнадцать лет на заводе ни разу не изменилась: буква О с разрывом сверху, буква А без хвостика, потому что я тороплюсь всегда, даже когда некуда.

Тимченко поставил печать, посмотрел на подпись:

— У вас почерк, как у мужчины.

— Знаю. Игорь говорил то же самое восемнадцать лет.

Я считала в уме: четырнадцать миллионов двести, отсрочка сорок пять дней, металл пойдёт с двадцатого сентября, вторая линия загружена до декабря — значит, я не сокращаю двенадцать сварщиков, которых собиралась сократить в августе.

В гостиницу я вернулась в девятнадцать сорок. Я поставила чайник и позвонила на завод, потому что звоню туда каждый вечер уже четырнадцать месяцев — с тех пор, как Игоря в первый раз увезли с завода на скорой, — и потому что без этого звонка не засыпаю.

Трубку взяла Русакова.

— Галина Петровна, всё нормально?

— Всё нормально, Олеся Андреевна. Вторая линия встала в восемнадцать двадцать, план закрыли.

— Бахтин на месте?

— Ушёл в шесть.

— Поняла. Спасибо.

Я допила чай и подумала, что хорошо бы завтра улететь пораньше: в субботу Игорю исполнялось пятьдесят четыре, а он не любил, когда я опаздываю к его дню рождения.

Четырнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года, в семнадцать двадцать, я подписала договор со «Стройдеталью» на четырнадцать двести.

В семнадцать двадцать того же дня в Краснореченске, за девятьсот километров от меня, в кабинете нотариуса Пантелеева женщина, которой там не было, подписала моё поручительство на тридцать четыре миллиона.

Я узнала об этом через пятнадцать месяцев.

Глава 1. Клиентка

Второе декабря две тысячи двадцать четвёртого года, понедельник, десять утра.

Снег выпал в субботу, густой и впервые по-настоящему, а к обеду растаял и оставил на асфальте серую кашу. К вечеру подморозило. Из окна было видно двор с двумя голубыми контейнерами, ледяную корку на лужах и Никин след от подъезда к крыльцу: двадцать два раза туда и обратно.

Я открыла ноутбук и посмотрела на счёт. Сто сорок одна тысяча двести рублей. Аренда девяносто шесть, зарплаты двести девять, налоги, и всё это шестнадцатого числа, то есть через четырнадцать дней.

Зоя Ильинична поставила на край стола противень и сняла полотенце.

— Опять, — сказала я.

— Опять. — Она села у двери, сложила руки на сумке. — Вы едите, когда всё кончилось. А кончится у вас никогда, я уже поняла. Ешьте сейчас.

Пирог был с капустой и пах домом, а не кухней: так пахнет, когда тесто месят долго. Я взяла кусок. Зоя Ильинична сидела молча, потому что пожилые женщины умеют сидеть молча, и это единственное, что помогает в такие утра.

— У меня к вам дело будет, — сказала она, не вставая. — Только не сейчас.

— Когда?

— Когда скажу.

Она ушла, оставив противень. Противень останется до среды, я знала: в холодильник его никто не поставит и выбросит жалко, и к среде он зачерствеет ровно настолько, чтобы его можно было доесть без угрызений совести.

В десять Ника позвала из приёмной:

— Кира Андреевна, к вам.

Она вошла не сразу. Она постояла в приёмной, разделась, повесила пальто, посмотрела на свои руки, потом на меня. Сорок один год, серое пальто, сумка, которую держат двумя руками, — потому что в такой сумке несут не вещи, а документы.

Я видела это уже сорок раз и знала: человек, который вошёл и сразу сел, будет говорить сорок минут и не скажет главного. Человек, который раздевается медленно, скажет главное первым.

— Здравствуйте, — сказала она. — Меня зовут Олеся Андреевна Круглова. Мне сказали, вы берёте дела, от которых отказались все.

— Мне сказали?

— В городе говорят. — Она села. Сумку поставила на колени и не открыла. — У меня завод «Круглов-Металл», промзона Северная. Сто двадцать семь человек.

Она выдержала паузу в четыре секунды. Я считала, потому что пауза перед цифрой — это всегда либо гордость, либо страх, и важно понять, какое из двух.

— Муж умер девятого марта. Не девятого — двадцатого. Двадцатого марта, среда. Инфаркт, пятьдесят четыре года. Завод остался мне.

Двадцатое марта две тысячи двадцать четвёртого года и правда было средой. Я это проверила потом, вечером, потому что проверяю всё, и потому что человек, который путает дату смерти близкого, либо врёт, либо не спит. Она не врала.

— Восемь месяцев, — сказала я.

— Восемь месяцев и две недели. — Она наконец открыла сумку. — Вот.

На стол легли три документа. Первый — требование на бланке общества «Гефест-Капитал»: сумма сорок один миллион двести тысяч рублей, срок десять дней, подпись управляющего директора Тимербулатова. Второй — копия договора займа от двенадцатого сентября две

тысячи двадцать третьего года: тридцать четыре миллиона, семнадцать процентов, срок до двенадцатого сентября две тысячи двадцать пятого. Третий — выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества: залогодатель «Круглов-Металл», залогодержатель «Гефест-Кредит», предмет залога — оборудование, тридцать одна позиция, дата регистрации уведомления двенадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года.

Я читала. Читала медленно, потому что читать быстро в этой работе нельзя: в договоре всё важное стоит не там, где громко, а там, где мелко.

— Вы знали про заём? — спросила я.

— Знала. Игорь брал. Он сказал: тридцать четыре, под семнадцать, на два года, под оборудование. Мы тогда вторую линию покупали. Я знала.

— А про поручительство?

— Нет.

Она сказала это не громко и не тихо, ровно, и не отвела глаз. Я смотрела на неё четыре секунды — я умею считать время без часов, это осталось от первой работы, — и ничего не увидела, кроме усталости.

— А про согласие супруга на залог?

— Нет.

— Вы уверены?

— Я помню всё, что подписывала за восемнадцать лет на заводе, — сказала она. — У меня плохая память на лица и хорошая на бумаги. Я помню, что подписывала в две тысячи двадцать первом, и помню, что не подписывала это.

— Почему вы решили, что оно есть?

Она достала из сумки четвёртый документ — один лист, копия, плохая, с серым полем по краю. Договор поручительства. Четыре страницы, на последней — удостоверительная надпись нотариуса, печать, подпись, число.

Я прочитала надпись дважды.

«Подлинность подписи Кругловой Олеси Андреевны удостоверена. Четырнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года. Нотариус Пантелеев В. К.»

— Откуда у вас копия? — спросила я.

— Прислали с требованием. Я не поверила, запросила у нотариуса, он выслал за три тысячи пятьсот. Выслал очень быстро. Я думала, это потому, что у них всё в порядке.

— У них?

— У тех, кто это сделал.

Я отложила лист и посмотрела на неё.

— Где вы были четырнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года?

Она улыбнулась — первый раз за всё время, и улыбка вышла невесёлой, короткой, той самой, которой улыбаются, когда наконец-то задали правильный вопрос.

— В Нижнеолховске, — сказала она. — Девятьсот километров. Переговоры со «Строй-деталью» по поставке металла. Я вылетела тринадцатого утром и вернулась пятнадцатого вечером. У меня билеты. У меня счёт из гостиницы. У меня протокол переговоров с подписью Тимченко и печатью. И у меня, Кира Андреевна, тринадцатого утром был паспорт при мне, потому что иначе я бы не села в самолёт.

Я считала. Пятнадцать месяцев между датой на бумаге и сегодняшним днём. Десять дней из требования, из которых три уже прошли: бумага пришла в пятницу, сегодня понедельник.

— Почему вы пришли только сейчас? — спросила я. — Бумага у вас с пятницы.

— Потому что в пятницу я думала, что это ошибка. В субботу я думала, что это ошибка, которую они сами исправят, если я позвоню. Я позвонила. Мне ответили, что ошибки нет, что подпись удостоверена нотариусом и что, если я хочу спорить, я могу спорить потом, а платить — сейчас. В воскресенье я считала, сколько у меня денег. — Она помолчала. — И

в воскресенье же я поняла, что дело не в деньгах. Если я отдам сорок один миллион двести тысяч, я закрою завод в феврале. Сто двадцать семь человек. Двенадцать из них работали ещё с Игорем, с две тысячи седьмого.

— Вы пробовали у других?

— Я обошла четырёх юристов за три дня, — сказала она. — Трое сказали, что против нотариально удостоверенной подписи ничего сделать нельзя. Четвёртый сказал, что можно, но это долго, и взял бы с меня триста тысяч только за то, чтобы посмотреть. Он посмотрел. Сказал: «Поручительство удостоверено, всё».

Она назвала фамилию четвёртого. Я её знала. Он действительно ничего не смог бы, потому что он читает документы так, как они написаны, а не так, как они сделаны.

— У вас есть деньги на ставку? — спросила я.

— Сколько?

Я назвала. Сто восемьдесят тысяч плюс пять процентов от того, что удержим. Если ничего не удержим — процента нет, только ставка.

Она посчитала. Считала она вслух, и это было первое, что мне в ней понравилось: человек, который считает вслух, не будет врать про деньги.

— Сто восемьдесят у меня есть. Это касса завода. Я их верну из отгрузки двадцатого.

— Вернёте себе. — Я поправила лист. — И ещё вопрос. Почему вы пришли именно ко мне? В городе триста юристов.

Она ответила не сразу.

— Потому что в октябре вы вернули женщине ателье, — сказала она. — Про это тоже в городе говорят. И ещё потому, что Артур Кольцов написал про вас записку.

Я не изменилась в лице. Я умею не меняться в лице.

— Какую записку?

— Не мне. — Она подняла глаза. — Мне передали слова. Он сказал одному человеку, что вы возьмёте моё дело раньше, чем я до вас дойду, и что вам будет интересно. И что завод Круглова — это ровно то, что вы не сможете не взять.

В приёмной звякнул чайник, Ника поставила его на подставку. За окном мальчик шёл через двор и скользя на каждой луже, и каждый раз смеялся.

Артур знал. Он знал двадцать восьмого ноября, когда приписал от руки строчку под своей распиской про стеклянное пресс-папье: «У вас новая клиентка. Завод Круглова, если не ошибаюсь. Передайте, что я очень внимательно слежу». Я прочитала её трижды и не стала гадать: гадать про Артура — это считать деньги в чужом кармане.

Теперь гадать было не нужно. Он не следил. Он вёл.

— Вы его знаете?

— Он юрист Сергея Ильича Бахтина. Моего финансового директора. Бывшего.

Игорь уволил Бахтина в декабре две тысячи двадцать второго за закупки. Кольцов представляет его интересы с июня две тысячи двадцать четвёртого года.

— Вы взяли его обратно в июне, — сказала я. — Почему?

— Потому что одна не тянула.

Она сказала это ровно, без оправдания, и впервые за всё время отвела взгляд к окну. Я отметила: это её вина, она про неё знает, и она её не прячет. Человек, который прячет вину, в работе опаснее человека, который её не прячет, — потому что второй хотя бы не будет врать.

— Вы его подозреваете? — спросила я.

— Я никого не подозреваю, — сказала она. — Я восемь месяцев не сплю. Но я считаю. И у меня не сходится ровно одна вещь: завод платил по этому займу каждый месяц, с октября две тысячи двадцать третьего. Миллион двести в месяц. Я сама подписывала платёжки. Десять месяцев — двенадцать миллионов. И если эти деньги ушли, то заём не может быть просрочен на сорок один миллион двести.

Я смотрела на неё и считала про себя. Миллион двести в месяц, десять месяцев, двенадцать миллионов. Тридцать четыре минус двенадцать — двадцать два. Плюс проценты, плюс неустойка. Сорок один двести не складывается ни при каком расчёте.

— Где платёжки? — спросила я.

— В бухгалтерии. Всё в порядке, все с подписью, все с назначением платежа.

— Вы привезли?

Она достала из сумки папку. Толстую, серую, с резинкой.

— Я привезла всё, — сказала она. — За три года. Я думала, вы спросите про поручительство, а вы спросили про деньги.

— Я всегда спрашиваю про деньги, — сказала я. — Потому что подпись можно подделать один раз, а деньги нельзя не заплатить десять раз подряд.

Я взяла договор и ещё раз посмотрела на дату. Четырнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года, четверг. Человека в кабинете нотариуса не было — она была за девятьсот километров, с билетами, со счётом из гостиницы и с протоколом под печатью.

Значит, подписывал кто-то другой. И нотариус это удостоверил.

— Олеся Андреевна, — сказала я. — Я беру дело. Но вы должны услышать три вещи. Первое: я не обещаю победы, я обещаю работу. Второе: всё, что я делаю, я делаю бумагой — возражением, запросом, жалобой регулятору, соглашением. И я скажу вам честно, где кончается то, что можно решить за столом. И третье.

— Да?

— Десять дней из требования — это мало. Но это не ваш срок, это их срок. Они его поставили, они его и будут ждать. Не вы перед ними отчитываетесь, а они перед вами.

Она кивнула. Потом достала из сумки ручку, подписала договор на трёх листах, не читая, и я её остановила.

— Читайте.

— Я вам верю.

— Читайте. — Я подвинула к ней лист. — Я не возьму клиентку, которая подписывает, не читая. У меня таких уже была одна, и это была я.

Она прочитала. Медленно, все три страницы, водя пальцем по строкам, как делают люди, которые читают бумаги всю жизнь и знают, где прячут. На второй странице остановилась, вернулась к абзацу про отказ от процента, если результата нет, и подняла глаза.

— Здесь написано, что если вы ничего не вернёте, я плачу только сто восемьдесят.

— Да.

— Это неправильно с точки зрения бизнеса, — сказала она. — Вы работаете десять дней за ставку и рискуете ничем.

— Я не рискую ничем, — сказала я. — У меня есть касса на четырнадцать дней. У вас есть платёжки. А у них есть подпись, которой нет.

Она подписала. Я поставила печать, внесла запись в журнал и проводила её до двери. В приёмной она надела пальто, взяла сумку двумя руками и обернулась.

— Кира Андреевна.

— Да.

— Я восемь месяцев не сплю. Я считаю, что это нормально, и я не прошу меня жалеть. Но если вы скажете мне, что мы выиграем, я вам не поверю.

— Я не скажу.

— Вот и хорошо, — сказала она и пошла к лестнице.

Я вернулась в кабинет, села и открыла ноутбук. Сто сорок одна тысяча двести на счету бюро, аренда девяносто шесть шестнадцатого числа, зарплаты двести девять. И сто восемьдесят тысяч, которые теперь есть.

Потом я взяла лист и написала сверху:

«Требование: 41 200 000. Срок: 10 дней (прошло 3)».

«Заём: 34 000 000, 17 %, 12.09.2023».

«Платежи: 1 200 000 в месяц, десять месяцев — 12 000 000».

«Поручительство: удостоверено 14.09.2023, нотариус Пантелеев В. К.».

«Олеся 14.09.2023 — Нижнеолховск, 900 км».

И ниже, цифрами, то единственное, что имело значение:

Девятьсот километров. Четыре секунды, в которые нотариус поднял глаза. И подпись, которой не было.

— Данила, — позвала я.

Глава 2. Требование

Третье декабря, вторник, восемь утра.

Ночью подморозило, и двор блестел так, что больно было смотреть. Ника пришла первая, как всегда, и первым делом открыла форточку: она считала, что в офисе душно, а я считала, что душно — это когда топят, а топили у нас слабо; вообще она открывала форточку затем, чтобы утро начиналось с холода. Я не спорила: спорить с человеком, который приходит первым, — это спорить с часами.

— Кира Андреевна, — сказала она из приёмной. — Журнал.

Журнал записи лежал на её столе, раскрытый на декабре. Я смотрела в него каждое утро ровно три секунды, но не ради записей: мне нужно было то, что стоит за ними. На двадцатое декабря была записана фамилия, которой я ещё не знала, и на тринадцатое января — тоже. В цикле бюро это работало лучше рекламы: женщина видит дату, фамилию и понимает, что кто-то уже решился раньше неё.

— Кто записан на двадцатое?

— Ершова И. П. По телефону, из района. Сказала: «пока не знаю, о чём, но запишите».

— Запиши. И ещё. — Я осеклась.

Ника посмотрела на меня.

— Я ничего, — сказала я. — Просто сегодня не спала.

Данила вошёл в девять, со вчерашним свитером и с папкой, в которой, я знала, лежали не мои документы. Пятый месяц он работал в бюро, и пятый месяц у него не было своего кабинета: он сидел в комнате, где раньше была примерочная, за столом, который занимала половина швейной машины, оставшейся от дома быта. Он ни разу не попросил кабинет. Я предлагала дважды. Он отказался дважды, и я перестала предлагать, потому что поняла: он не хочет кабинета, он хочет, чтобы я не успела пожалеть.

— Поедешь на завод, — сказала я. — Промзона Северная, «Круглов-Металл». Возьмёшь платёжки по займу за три года: все, с назначением платежа, с контрагентами, с датами. И кассовую книгу, если дадут.

— Она даст?

— Она директор и собственник. Даст.

— А Бахтин?

— Бахтин — советник, — сказала я. — Советники не распоряжаются бухгалтерией. Если распоряжается — это первое, что ты мне скажешь.

Данила кивнул и не ушёл. Он стоял и смотрел на меня так, как смотрят люди, у которых есть цифра, но нет ещё права её произнести.

— Говори.

— Миллион двести в месяц, — сказал он. — Если платили десять месяцев, это двенадцать миллионов. Тридцать четыре минус двенадцать — двадцать два. Проценты на остаток за полтора года — около пяти. Неустойка, если она считается от просроченного тела, — ещё шесть-семь. Итого тридцать три — тридцать пять.

— А в требовании сорок один двести, — сказала я.

— А в требовании сорок один двести.

— Сколько лишнего?

— Шесть-восемь миллионов. Либо они считают, что платежей не было вообще. Либо они считают неустойку на тридцать четыре, а не на остаток. Либо и то и другое.

Я смотрела на него и считала про себя. Если они считают неустойку на всё тело и не зачитывают платежи, то они ошиблись ровно настолько, насколько нужно, чтобы цифра выглядела безнадёжной. Безнадёжная цифра — это цифра, от которой человек отказывается сразу, не

проверив. Один раз за четыре года я уже видела, как Артур делал это с женщиной, у которой не было сил считать.

— Или не ошиблись, — сказала я. — Платежи могли не дойти.

Данила поднял глаза.

— Именно, — сказал он. — Поэтому я еду за платёжками.

Он ушёл. Я набрала запрос в службу регистрации по «Круглов-Металл»: выписка, учредители, доля, обременения. Отправила. Потом второй — в реестр уведомлений о залоге, по залогодателью: тридцать одна позиция у меня уже была из Олесиной копии, но копия мне была ни к чему. Нужна была запись.

Запись пришла в одиннадцать двадцать. Я читала её дважды.

Уведомление о залоге зарегистрировано двенадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года, то есть в день договора займа. Предмет залога — оборудование, тридцать одна позиция, в том числе две линии плазменной резки, пресс, восемнадцать сварочных постов, кран-балка. Залогодержатель — «Гефест-Кредит». И внизу, мелким шрифтом, то, чего не было в копии: тринадцатого ноября две тысячи двадцать четвёртого года в запись внесено изменение — залогодержатель заменён на общество «Гефест-Капитал».

Двадцать пятое ноября в требовании стояло как дата цессии. А запись в реестре изменили тринадцатого — за двенадцать дней до бумаги.

— Ника, — позвала я. — Сколько дней между тринадцатым ноября и двадцать пятым?

Она посчитала на пальцах, потом на калькуляторе.

— Двенадцать.

— Спасибо.

Я откинулась на спинку стула. Кто-то готовил замену залогодержателя за двенадцать дней до того, как о ней сообщили должнику, и собирал бумаги заранее, в том порядке, в котором их потом предъявят. Это был не кредитор, которому надоело ждать, а человек, который собрал конструкцию.

Телефон звякнул в двенадцать десять. Сообщение было коротким, с неизвестного номера:

«Кира, не бери этот завод. Он не твой и не её. Артур».

Я прочитала один раз и положила телефон экраном вниз — не потому, что испугалась, а потому что знала: если Артур просит не брать, значит, брать нужно. За четыре года он просил меня ровно один раз, и тогда я не послушалась и осталась с папкой документов и съёмной квартирой. С тех пор я считала его просьбы сигналом, а не советом.

Римма вошла в двенадцать сорок, разделась, прошла к себе, вышла обратно с чашкой и села без приглашения. Ей было пятьдесят девять, тридцать лет из них она проработала государственным регистратором, и я за четыре года ни разу не видела, чтобы она села, когда у неё не было что сказать.

— Ты считаешь не то, — сказала она.

— Что не то?

— Ты считаешь деньги. А считать надо срок. У тебя сколько осталось?

— Требование пришло в пятницу. Десять дней. Сегодня вторник, прошло четыре.

— И что?

— И шесть, — сказала я.

— Нет. — Римма отпила. — У тебя не шесть. У тебя ноль, потому что десять дней — это не срок для тебя, это срок для них. Это они объявили, что через десять дней что-то сделают. А что именно они сделают?

Я не ответила. Я села ровно и почувствовала, как в груди стало холодно, — то самое чувство, которое бывает, когда понимаешь, что читал документ не в том порядке.

Исполнительная надпись.

Я открыла требование и прочитала его с самого начала, с первой строки, которую вчера пробежала: «В случае неисполнения требования в указанный срок кредитор вправе обратиться за взысканием на заложенное имущество во внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса от двадцать восьмого ноября две тысячи двадцать четвёртого года».

Двадцать восьмое ноября. Надпись уже получена — за пять дней до того, как Олесе пришлось писать. Всё уже готово: через шесть дней Тимербулатов принесёт эту надпись, и с ней придёт не разговор — придёт опись.

— То-то, — сказала Римма. — Ты считала, сколько у них денег, а они считали, сколько у тебя дней. И они посчитали правильно, потому что ты начала с денег.

— Исполнительную надпись выдают по нотариально удостоверенной сделке, — сказала я. — У них есть удостоверенное поручительство. У них есть залог. У них всё есть.

— А у тебя что есть?

— У меня есть дата, которой не могло быть.

— Дата — это хорошо. — Римма допила чай. — Но надпись останавливают не датой. Надпись останавливают жалобой тому, кто её выдал. Или самим нотариусом, если он поймёт, что подписал не то. Ты бы съездила к этому Пантелееву.

— Съезжу.

— И ещё, — сказала она, вставая. — Ты спросила у клиентки, где она была четырнадцатого сентября. А ты спросила, у кого был её паспорт?

Я подняла глаза.

— Нет.

— Спроси. — Римма поставила чашку. — Тридцать лет назад я видела одиннадцать таких удостоверений. И в десяти случаях паспорт был не у того человека, а у того, кто его принёс. Потому что удостоверяют подпись, а подпись можно поставить чужой рукой. А паспорт — нельзя. Паспорт всегда у того, кто его носит, либо у того, кому его дали.

Она ушла. Я сидела и смотрела на экран, где горела строка: «Запись изменена 13.11.2024».

В два часа я набрала контору нотариуса Пантелеева. Трубку взяла женщина, представилась помощником, и на мой вопрос, могу ли я получить копию материалов нотариального действия от четырнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года, ответила вежливо и быстро, как отвечают на вопрос, который задают каждый день:

— Материалы нотариального действия выдаются лицу, в отношении которого оно совершено, его представителю по доверенности, либо по запросу нотариальной палаты.

— Я представитель по доверенности.

— Доверенность от Кругловой Олеси Андреевны?

— Да.

— Пришлите скан, мы проверим.

Я прислала. Проверка заняла сорок минут. В три часа двадцать минут помощник перезвонила и сказала:

— Ваша доверенность не содержит полномочия на получение материалов нотариального действия. Доверенность на ведение дела не равна доверенности на истребование нотариальной тайны. Оформите отдельную — и мы рассмотрим.

— Сколько оформление?

— Нотариус принимает по записи. Ближайшая запись — шестнадцатое декабря.

Шестнадцатое декабря. Требование истекает восьмого.

— Спасибо, — сказала я.

— Обращайтесь.

Я положила трубку аккуратно, как кладут вещь, которую жалко. Шестнадцатое декабря — через тринадцать дней, а опись придёт делать через шесть. И никакой даты четырнадцатого

сентября не хватит, чтобы это остановить: надпись уже выдана и живёт сама по себе, потому что выдаётся по документу, а не по человеку.

Значит, порядок был такой. Сначала жалоба в нотариальную палату — единственный орган, который может запросить материалы без доверенности клиентки и без записи к нотариусу. Потом, если палата увидит нарушение, — заявление самому Пантелееву об отзыве исполнительной надписи. И только потом — разговор с Тимербулатовым.

А для жалобы в палату мне нужно было одно: знать, как именно была удостоверена подпись. По копии паспорта или по подлиннику. С личным присутствием или без него.

И это я могла узнать только из материалов, которые мне не выдадут тринадцать дней.

Я открыла чистый лист и написала сверху:

«13.11.2024 — замена залогодержателя в реестре».

«25.11.2024 — цессия (сообщили должнику)».

«28.11.2024 — исполнительная надпись».

«29.11.2024 — письмо Олеся (пятница)».

«08.12.2024 — срок из требования. Осталось 6 дней».

«16.12.2024 — запись к Пантелееву (не успеваю)».

И ниже, крупно, то единственное, что имело значение:

Жалоба в палату — единственный вход. Палата рассматривает пятнадцать дней.

Пятнадцать дней. Опись через шесть.

Я посчитала ещё раз и поняла, что проигрываю не потому, что медленно работаю, а потому, что они начали на девятнадцать дней раньше меня — тринадцатого ноября, когда меняли запись в реестре, и не предупредили об этом никого.

Телефон звякнул снова. Олеся.

— Кира Андреевна, — сказала она. — У нас на проходной стоит оценщик. Говорит, что от кредитора, и что он должен осмотреть оборудование.

Глава 3. Залог

Четвёртое декабря, среда, семь тридцать.

Я приезжаю на завод раньше всех, уже восемь месяцев. Сначала темно, потом загорается первая линия, потом вторая, и в семь сорок пять включается компрессор — он гудит негромко, хозяйским голосом, и, наверное, так и есть: он здесь главный. Запах у цеха один на все времена года: окалина, масло и сварочный дым, который держится под потолком даже ночью. Игорь говорил, что по этому запаху можно определить, что варили вчера. Я умела.

Проходная. Вахтёр Толя, шестьдесят восемь лет, работает здесь с две тысячи третьего, знает меня ещё девчонкой из отдела снабжения.

— Олеся Андреевна, — говорит он. — Там к вам.

— Кто?

— Оценщик. С семи ждёт.

Я смотрю на часы. Семь тридцать две. Полчаса стоит в проходной, пальто не снял: значит, приехал не ради галочки и ждать будет долго.

— Где он?

— В проходной. Я его не пустил, потому что вы не сказали.

Толя не пустил человека, потому что я не сказала. Двадцать восемь лет он здесь никого не пускал, кого я не сказала, и я впервые за восемь месяцев почувствовала, что у меня есть хотя бы одна вещь, которая не зависит от денег.

— Пусти. И позови Галину Петровну.

Оценщику было двадцать восемь, звали его Кирилл, и он был в пальто, которое стеснялся снять, потому что под ним был костюм, а в цеху костюм за сорок минут становится серым. Он протянул визитку и сказал три слова:

— Я от кредитора.

— Я знаю. — Я не взяла визитку. — Что вы должны сделать?

— Опись и оценку заложенного оборудования. Тридцать одна позиция. — Он говорил быстро, как говорят люди, которые выучили текст и боятся забыть. — Я ничего не изымаю. Я только фиксирую состояние и считаю стоимость.

— Читать вы будете по чему?

— По рыночной. С учётом износа.

— По рыночной для кого? — спросила я. — Для того, кто продаёт на ходу, или для того, кто продаёт с молотка?

Он замолчал. Потом сказал честно:

— Для того, кто будет обращать взыскание.

Галина Петровна пришла через пять минут, в своём халате и с журналом, в котором было записано всё оборудование завода с две тысячи седьмого года, включая то, что списали. Ей было пятьдесят восемь, она работала кладовщицей двадцать два года и помнила каждый станок по инвентарному номеру.

— Пойдёмте, — сказала я.

Мы пошли по цеху.

Первая линия плазменной резки, две тысячи двадцать первый год, куплена на тот самый заём: тридцать четыре миллиона, из которых четырнадцать ушли на неё и на вторую. Я помню день, когда её привезли: двадцать третье сентября, вторник, Игорь стоял вот здесь, на этом самом месте, и не улыбался, потому что боялся, что не окупится. Окупилась за четырнадцать месяцев.

— Состояние? — спросил Кирилл.

— Рабочее, — ответила Галина Петровна. — Нарботка шестнадцать тысяч часов. Регламент пройден в октябре.

Он записал.

Вторая линия, та же модель, декабрь две тысячи двадцать первого. Пресс, две тысячи девятый, тот самый, про который мне в Нижнеолховске рассказывал Тимченко. Восемнадцать сварочных постов. Кран-балка, две тысячи двенадцатый, с паспортом, в котором была вклеена фотография той самой балки, ещё зелёной, с завода.

Тридцать одна позиция. Мы прошли их за час двадцать.

За это время в цех заходили семь человек: сменный мастер — про наряд, сварщик Витя — про электроды, ещё пятеро просто посмотрели. Никто ничего не сказал. Но к девяти утра про оценщика знали все сто двадцать семь: на заводе новости не разносят, их просто знают, как знают, что включили компрессор.

Я это чувствовала спиной.

— И ещё, — сказал Кирилл, когда мы дошли до последней позиции. — Мне нужно сфотографировать шильдики.

— Фотографируйте.

Он фотографировал долго, на телефон, приседая к каждому станку, и я смотрела на него и думала не про то, что он делает. Я думала про то, что он делает это хорошо: аккуратно, не спеша, с паузой, в которой видно, что он понимает, что здесь живые люди, и что ему неловко, но он всё равно доснимает, потому что работа.

— Кирилл, — сказала я, когда он закончил. — Сколько вы насчитали?

Он помолчал.

— Олеся Андреевна, я не имею права.

— Я не прошу право. Я спрашиваю цифру.

— Двадцать восемь — тридцать, — сказал он тихо. — Я считал по нижней границе, потому что верхнюю мне не дали. Но вы понимаете: это рынок продажи с торгов. На ходу оно стоит вдвое.

Тридцать одна позиция. Тридцать миллионов при продаже с торгов против сорока одного миллиона двести требования. Даже если продадут всё, останется одиннадцать миллионов долга, завод без оборудования и сто двадцать семь человек на улице.

Я кивнула.

— Спасибо, — сказала я. — Вы считали честно.

— Я считал как умею.

— Это и есть честно.

Он ушёл. Я осталась стоять у пресса две тысячи девятого года и положила ладонь на станину: она была тёплая, потому что пресс работал с восьми утра, и Игорь всегда говорил, что оборудование должно быть тёплым, потому что холодное оборудование — это металлолом, а тёплое — это дело.

За спиной хлопнула дверь. Бахтин.

Сергей Ильич вошёл в цех в пальто, которого не снимал никогда, потому что в цеху ему было холодно, и он это подчёркивал: я здесь советник, я здесь случайно. Пятьдесят два года, седины на висках, папка под мышкой.

— Олеся Андреевна, — сказал он. — Я слышал, был оценщик.

— Был.

— И?

— И всё.

Он подошёл ближе. Не слишком близко — он всегда держал дистанцию ровно в полтора метра, и я за восемь месяцев ни разу не видела, чтобы он её нарушил, даже в дождь под одним зонтом.

— Я могу это уладить, — сказал он. — У меня есть выход. Вы подписываете соглашение о реструктуризации: долг растягивается на пять лет, платёж выходит восемьсот тысяч в месяц вместо миллиона двухсот, завод работает. Я договорился.

— С кем?

— С Тимербулатовым.

— Вы с ним знакомы?

— С декабря две тысячи двадцать третьего, — сказал он. — Мы с ним в одной комиссии по металлу.

Декабрь две тысячи двадцать третьего. Заём взят в сентябре две тысячи двадцать третьего. Значит, через три месяца после займа финансовый директор завода, уволенный годом раньше, уже сидит в одной комиссии с человеком, который этот заём выдал.

— Вы были уволены в декабре две тысячи двадцать второго, — сказала я.

— И что?

— И ничего. — Я убрала ладонь со станины. — Где соглашение?

— У меня. — Он открыл папку. — Вот. Пять лет, восемьсот тысяч, первый платёж двадцатого декабря.

— А залог?

— Залог остаётся.

— А поручительство?

Он посмотрел на меня ровно две секунды.

— Поручительство остаётся, — сказал он. — Олеся Андреевна, мы сейчас не про поручительство. Мы про то, будет ли завод работать в январе.

Вот оно. Если я подпишу это соглашение, я признаю долг. А признав долг, я признаю и поручительство, потому что в соглашении будет строка про обеспечение, и эта строка будет ссылаться на договор, и подпись под соглашением перекроет всё, что можно сказать про четырнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года.

Я взяла лист, прочитала его полностью, до конца, и нашла эту строку на второй странице, в самом низу, где её не ищут: «Обязательства по настоящему соглашению обеспечиваются залогом и поручительством по договору займа от 12.09.2023 в полном объёме».

— Сергей Ильич, — сказала я. — Скажите мне одну вещь. Вы были в кабинете нотариуса четырнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года?

Он не изменился в лице. Он вообще никогда не менялся в лице, и за восемь лет я видела его в тридцати таких разговорах — с поставщиками, с налоговой, с Игорем, когда Игорь кричал, — и ни разу ни одна жилка не дрогнула.

— Я был во многих кабинетах, — сказал он.

— Это не ответ.

— Это ответ, Олеся Андреевна. Больше мне сказать нечего.

Он закрыл папку.

— Подумайте до пятницы, — сказал он. — В пятницу восьмое.

В пятницу восьмое. Он знал срок. Конечно он знал срок.

Он пошёл к выходу, и у двери обернулся, и сказал то, что, я думаю, хотел сказать весь разговор:

— Вы одна, Олеся Андреевна. Восемь месяцев одна, и гордость вам не помощник. Игорь был человеком, который умел договариваться. Вы не умеете.

Дверь закрылась. Я осталась стоять у пресса и считала: восемьсот тысяч в месяц, пять лет, сорок восемь миллионов. Восемьсот тысяч в месяц при обороте тридцать четыре миллиона — это можно. Пять лет — это сто двадцать семь человек на пять вперёд. И подпись под строкой, в которой я признаю бумагу, которую не подписывала.

Игорь умел договариваться: он уступал, уступал, а потом в один день поднялся из-за стола и ушёл, и человек, с которым он договаривался, остался сидеть и не понял, что произошло.

Я достала телефон и позвонила Кире.

— Кира Андреевна, — сказала я. — Он предлагает реструктуризацию. Пять лет, восемьсот в месяц, залог и поручительство остаются.

Пауза ровно в три секунды.

— Вы подписали?

— Нет.

— Хорошо. — Она говорила спокойно, как говорят люди, у которых уже всё посчитано. — Не подписывайте. Ни сегодня, ни в пятницу, ни через месяц. Пока вы не подписали, у вас есть спор. Как только подпишете — у вас будет долг.

— А оценщик?

— Оценщик — это хорошо, — сказала Кира. — Пусть считает. Опись на бумаге — это ещё не изъятие: она фиксирует состояние и дату, и дата нам пригодится. Вы не мешали ему?

— Нет.

— И не мешайте. Ни одному. Если они снимут шильдики раньше, чем мы закончим, нам придётся доказывать, что станки были. А так они сами всё записали.

Я слушала и понимала, что она права, и от этого стало легче ровно настолько, насколько бывает легче, когда вместо страха появляется план.

— И ещё вопрос, — сказала Кира. — Про паспорт. В июне две тысячи двадцать третьего вы давали Сергею Ильичу Бахтину копию своего паспорта?

Я не ответила сразу. Я стояла у пресса две тысячи девятого года, положив ладонь на тёплую станину, и за спиной у меня работали восемнадцать сварочных постов, и пахло окалиной, маслом и сварочным дымом.

— Да, — сказала я. — Я оформляла на него доверенность на получение груза. Двадцатое июня две тысячи двадцать третьего года, у нотариуса Пантелеева. Копия паспорта осталась в материалах.

— Вы уверены в дате?

— Уверена. Двадцатое июня. Я помню, потому что в тот день у нас была отгрузка в Каменск, и я опаздывала.

— Хорошо, — сказала Кира. — Очень хорошо.

— Почему?

— Потому что четырнадцатого сентября вы были в Нижнеольховске с паспортом, — сказала она. — А двадцатого июня вы были здесь и отдали его копию человеку, который через три месяца пошёл с ней к нотариусу.

Я положила трубку не сразу. Я стояла и смотрела на пресс, и считала: двадцатое июня, четырнадцатое сентября, семьдесят шесть дней между ними. И думала про то, что человек, которого я позвала обратно, потому что одна не тянула, собирал меня по частям три месяца — одну бумагу в июне, другую в сентябре, и ещё одну, которую я до сих пор не видела.

А потом я поднялась на второй этаж, в бухгалтерию, и сказала Русаковой:

— Галина Петровна. Покажите мне всё, что подписывал Сергей Ильич Бахтин за две тысячи двадцать третий год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.